

ЗАПИСЬ 1-я.

Объявление.

Мудрейшая из книг.

Поэма.

Я просто списываю — слово в слово — то, что сегодня напечатано в Государственной Газете:

«Через 120 дней заканчивается постройка ИНТЕГРАЛА. Близок великий, исторический час, когда первый ИНТЕГРАЛ взвьётся в мировое пространство. Тысячу лет тому назад ваши героические предки покорили власти Единого Государства весь земной шар. Вам предстоит ещё более славный подвиг: стеклянным, электрическим, огнедышащим ИНТЕГРАЛОМ проинтегрировать бесконечное уравнение вселенной. Вам предстоит благодетельному игу разума подчинить неведомые существа, обитающие на иных планетах, — быть может, ещё в диком состоянии свободы. Если они не поймут, что мы несём им математически-безошибочное счастье, наш долг заставить их быть счастливыми. Но прежде оружия — мы испытываем слово.

От имени Благодетеля объявляется всем нумерам Единого Государства:

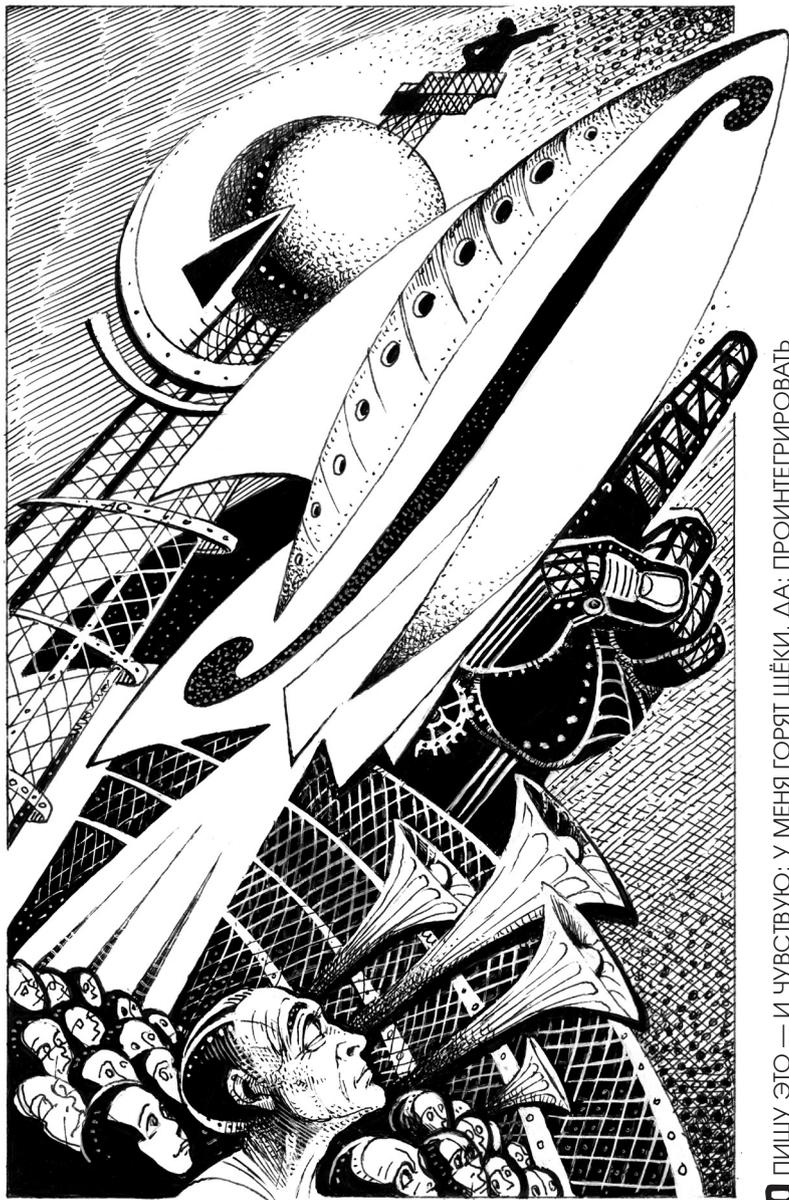
Всякий, кто чувствует себя в силах, обязан составлять трактаты, поэмы, манифесты, оды или иные сочинения о красоте и величии Единого Государства.

Это будет первый груз, который понесёт ИНТЕГРАЛ.

Да здравствует Единое Государство, да здравствуют нумера, да здравствует Благодетель!»

Я пишу это — и чувствую: у меня горят щёки. Да: проинтегрировать грандиозное вселенское уравнение. Да: разогнуть дикую кривую, выпрямить её по касательной — асимптоте — по прямой. Потому что линия Единого Государства — это прямая. Великая, божественная, точная, мудрая прямая — мудрейшая из линий...

Я, Д-503, строитель Интеграла, — я только один из математиков Единого Государства. Моё, привычное к цифрам, перо не в силах создать музыки ассонансов и рифм. Я лишь попытаюсь записать то, что вижу, что думаю, — точнее, что мы думаем (именно так: мы, и пусть это «МЫ» будет заглавием моих записей). Но ведь это будет производная от нашей жизни, от математически совершенной жизни Единого Государства,



Я ПИШУ ЭТО — И ЧУВСТВУЮ; У МЕНЯ ГОРЯТ ЩЁКИ. ДА: ПРОИНТЕГРИРОВАТЬ
ГРАНДИОЗНОЕ ВСЕЛЕНСКОЕ УРАВНЕНИЕ.

а если так, то разве это не будет само по себе, помимо моей воли, поэмой? Будет — верю и знаю.

Я пишу это и чувствую: у меня горят щёки. Вероятно, это похоже на то, что испытывает женщина, когда впервые услышит в себе пульс нового — ещё крошечного, слепого человечка. Это я и одновременно — не я. И долгие месяцы надо будет питать его своим соком, своей кровью, а потом — с болью оторвать его от себя и положить к ногам Единого Государства.

Но я готов, так же, как каждый, — или почти каждый из нас. Я готов.

КОНСПЕКТ:

ЗАПИСЬ 2-я.

Балет.

Квадратная гармония. Икс.

Весна. Из-за Зелёной Стены, с диких невидимых равнин, ветер несёт жёлтую медовую пыль каких-то цветов. От этой сладкой пыли сохнут губы — ежеминутно проводишь по ним языком — и, должно быть, сладкие губы у всех встречных женщин (и мужчин тоже, конечно). Это несколько мешает логически мыслить.

Но зато небо! Синее, не испорченное ни единым облаком (до чего были дики вкусы у древних, если их поэтов могли вдохновлять эти нелепые, безалаберные, глупо-толкущиеся кучи пара). Я люблю — уверен, не ошибусь, если скажу: мы любим — только такое вот, стерильное, безукоризненное небо. В такие дни — весь мир отлит из того же самого незыблемого, вечного стекла, как и Зелёная Стена, как и все наши постройки. В такие дни видишь самую синюю глубь вещей, какие-то неведомые дотоле, изумительные их уравнения — видишь в чём-нибудь таком самом привычном, ежедневном.

Ну, вот хоть бы это. Нынче утром был я на элинге, где строится ИНТЕГРАЛ, — и вдруг увидел станки: с закрытыми глазами, самозабвенно, кружились шары регуляторов; мотыли, сверкая, сгибались вправо и влево; гордо покачивал плечами балансир; в такт неслышной музыке приседало долото долбёжного станка. Я вдруг увидел всю красоту этого грандиозного машинного балета, залитого лёгким голубым солнцем.

И дальше — сам с собою: почему — красиво? Почему танец — красив? Ответ: потому что это несвободное движение, потому что весь глубокий смысл танца именно в абсолютной, эстетической подчинённости, идеальной несвободе. И если верно, что наши

предки отдавались танцу в самые вдохновенные моменты своей жизни (религиозные мистерии, военные парады), то это значит только одно: инстинкт несвободы издревле органически присущ человеку, и мы, в теперешней нашей жизни — только сознательно...

Кончить придётся после: щёлкнул нумератор. Я подымаю глаза: 0-90, конечно. И через полминуты она сама будет здесь: за мной на прогулку.

Милая 0! — мне всегда это казалось — что она похожа на своё имя: сантиметров на 10 ниже Материнской Нормы — и оттого вся кругло обточенная, и розовое 0 — рот — раскрыт навстречу каждому моему слову. И ещё: круглая, пухлая складочка на запястье руки — такие бывают у детей.

Когда она вошла, ещё вовсю во мне гудел логический маховик, и я по инерции заговорил о только что установленной мною формуле, куда входили и мы все, и машины, и танец.

— Чудесно. Не правда ли? — спросил я.

— Да, чудесно. Весна, — розово улыбнулась мне 0-90.

Ну вот, не угодно ли: весна... Она — о весне. Женщины... Я замолчал.

Внизу. Проспект полон: в такую погоду послеобеденный личный час — мы обычно тратим на дополнительную прогулку. Как всегда, музыкальный

завод всеми своими трубами пел Марш Единого Государства. Мерными рядами, по четыре, восторженно отбивая такт, шли нумера — сотни, тысячи нумеров, в голубоватых юнифах¹, с золотыми бляхами на груди — государственный нумер каждого и каждой. И я — мы, четверо, — одна из бесчисленных волн в этом могучем потоке. Слева от меня 0-90 (если бы это писал один из моих волосатых предков лет тысячу назад, — он, вероятно, назвал бы её этим смешным словом «моя»); справа — два каких-то незнакомых нумера, женский и мужской.

Блаженно-синее небо, крошечные детские солнца в каждой из блях, не омрачённые безумием мыслей лица... Лучи — понимаете: все из какой-то единой, лучистой, улыбающейся материи. А медные такты: «Тра-та-та-там. Тра-та-та-там», эти сверкающие на солнце медные ступени и с каждой ступенью — вы поднимаетесь всё выше, в головокружительную синеву...

И вот, так же, как это было утром, на эллинге, я опять увидел, будто только вот сейчас первый раз в жизни — увидел всё: непреложные прямые улицы, брызжащее лучами стекло мостовых, божественные параллелепипеды прозрачных жилищ, квадратную

¹ Вероятно, от древнего «Uniforme».

гармонию серо-голубых шеренг. И так: будто не целые поколения, а я — именно я — победил старого Бога и старую жизнь, именно я создал всё это, и я как башня, я боюсь двинуть локтем, чтобы не посыпались осколки стен, куполов, машин...

А затем мгновение — прыжок через века с + на —. Мне вспомнилась (очевидно — ассоциация по контрасту) — мне вдруг вспомнилась картина в музее: их, тогдашний, двадцатых веков проспект, оглушительно пёстрая, путаная толчея людей, колёс, животных, афиш, деревьев, красок, птиц... И ведь, говорят, это на самом деле было — это могло быть. Мне показалось это так неправдоподобно, так нелепо, что я не выдержал и расхохотался вдруг.

И тотчас же эхо — смех — справа. Обернулся: в глаза мне — белые — необычайно белые и острые зубы, незнакомое женское лицо.

— Простите, — сказала она, — но вы так вдохновенно всё озирали — как некий мифический бог в седьмой день творения. Мне кажется, вы уверены, что и меня сотворили вы, а не кто иной. Мне очень лестно...

Всё это — без улыбки, я бы даже сказал — с некоторой почтительностью (может быть, ей известно, что я — строитель ИНТЕГРАЛА). Но не знаю — в глазах или бровях — какой-то странный раздражающий

икс, и я никак не могу его поймать, дать ему цифровое выражение.

Я почему-то смутился и, слегка путаясь, стал логически мотивировать свой смех. Совершенно ясно, что этот контраст, эта непроходимая пропасть между сегодняшним и тогдашним...

— Но почему же — непроходимая? (Какие белые зубы!) Через пропасть — можно перекинуть мостик... Вы только представьте себе: барабан, батальоны, шеренги — ведь это тоже было — и, следовательно...

— Ну, да: ясно! — крикнул (это было поразительное пересечение мыслей: она — почти моими же словами — то, что я записывал перед прогулкой). — Понимаете: даже мысли. Это потому, что никто не «один», но «один из». Мы так одинаковы...

Она:

— Вы уверены?

Я увидел острым углом вздёрнутые к вискам брови — как острые рожки икса, опять почему-то сбился, взглянул направо, налево — и...

Направо от меня — она, тонкая, резкая, упрямо-гибкая, как хлыст, I-330 (вижу теперь её номер); налево — 0, совсем другая, вся из окружностей, с детской складочкой на руке; и с краю нашей четвёрки — неизвестный мне мужской номер — какой-то дважды изогнутый, вроде буквы S. Мы все были разные...

Эта, справа, I-330, перехватила, по-видимому, мой растерянный взгляд — и со вздохом:

— Да... Увы!

В сущности, это «увы» было совершенно уместно. Но опять что-то такое на лице у ней или в голосе...

Я — с необычайной для меня резкостью — сказал:

— Ничего не увы. Наука растёт, и ясно — если не сейчас, так через пятьдесят, сто лет...

— Даже носы у всех...

— Да, носы, — я уже почти кричал. — Раз есть — всё равно какое основание для зависти... Раз у меня нос пуговицей, а у другого...

— Ну, нос-то у вас, пожалуй, даже и «классический», как в старину говорили. А вот руки... Нет, покажите-ка, покажите-ка руки!

Терпеть не могу, когда смотрят на мои руки: все в волосах, лохматые — какой-то нелепый атавизм. Я протянул руку и — по возможности посторонним голосом — сказал:

— Обезьяньи.

Она взглянула на руки, потом на лицо:

— Да это прелюбопытный аккорд, — она прикидывала меня глазами, как на весах, мелькнули опять рожки в углах бровей.

— Он записан на меня, — радостно-розово открыла рот 0-90.

Уж лучше бы молчала — это было совершенно ни к чему. Вообще, эта милая О... как бы сказать... у ней неправильно рассчитана скорость языка, секундная скорость языка должна быть всегда немного меньше секундной скорости мысли, а уже никак не наоборот.

В конце проспекта, на аккумуляторной башне, колокол гулко бил 17. Личный час кончился. I-330 уходила вместе с тем, S-образным мужским номером. У него такое — внушающее почтение и, теперь вижу, как будто даже знакомое лицо. Где-нибудь встречал его — сейчас не вспомню.

На прощание I — всё так же иксово — усмехнулась мне:

— Загляните послезавтра в аудиториум 112.

Я пожал плечами:

— Если у меня будет наряд — именно на тот аудиториум, какой вы назвали..

Она с какой-то непонятной уверенностью:

— Будет.

На меня эта женщина действовала так же неприятно, как случайно затесавшийся в уравнение неразложимый иррациональный член. И я был рад остаться хоть ненадолго вдвоём с милой О.

Об руку с ней мы прошли четыре линии проспектов. На углу ей было направо, мне — налево.

— Я бы так хотела сегодня прийти к вам, опустить шторы. Именно сегодня, сейчас... — робко подняла на меня О круглые, сине-хрустальные глаза.

Смешная. Ну что я мог ей сказать? Она была у меня только вчера и не хуже меня знает, что наш ближайший сексуальный день — послезавтра. Это просто всё то же самое её «опережение мысли» — как бывает (иногда вредное) опережение подачи искры в двигателе.

При расставании я два... нет, буду точен: три раза поцеловал чудесные, синие, не испорченные ни одним облачком, глаза.

КОНСПЕКТ:

ЗАПИСЬ 3-я.

Пиджак.

Стена . Скрижаль.

Просмотрел всё написанное вчера — и вижу: я писал недостаточно ясно. То есть всё это совершенно ясно для любого из нас. Но как знать: быть может, вы, неведомые, кому ИНТЕГРАЛ принесёт мои записки, может быть, вы великую книгу цивилизации дочитали лишь до той страницы, что и наши предки лет 900 назад. Быть может, вы не знаете даже таких

азов, как Часовая Скрижаль, Личные Часы, Материнская Норма, Зелёная Стена, Благодетель. Мне смешно — и в то же время очень трудно говорить обо всём этом. Это всё равно, как если бы писателю какого-нибудь, скажем, 20-го века в своём романе пришлось объяснять, что такое «пиджак», «квартира», «жена». А впрочем, если его роман переведён для дикарей — разве мыслимо обойтись без примечаний насчёт «пиджака»?

Я уверен, дикарь глядел на «пиджак» и думал: «Ну к чему это? Только обуза». Мне кажется, точь-в-точь так же будете глядеть и вы, когда я скажу вам, что никто из нас со времён Двухсотлетней Войны не был за Зелёной Стеною.

Но, дорогие, надо же сколько-нибудь думать, это очень помогает. Ведь ясно: вся человеческая история, сколько мы её знаем, это история перехода от кочевых форм к всё более оседлым. Разве не следует отсюда, что наиболее оседлая форма жизни (наша) — есть вместе с тем и наиболее совершенная (наша). Если люди метались по земле из конца в конец, так это только во времена доисторические, когда были нации, войны, торговли, открытия разных америк. Но зачем, кому это теперь нужно?

Я допускаю: привычка к этой оседлости получилась не без труда и не сразу. Когда во время

Двухсотлетней Войны все дороги разрушились и заросли травой — первое время, должно быть, казалось очень неудобно жить в городах, отрезанных один от другого зелёными дебрями. Но что же из этого? После того, как у человека отвалился хвост, он, вероятно, тоже не сразу научился сгонять мух без помощи хвоста. Он первое время, несомненно, тосковал без хвоста. Но теперь — можете вы себе вообразить, что у вас — хвост? Или: можете вы себя вообразить на улице — голым, без «пиджака» (возможно, что вы ещё разгуливаете в «пиджаках»). Вот так же и тут: я не могу себе представить город, не одетый Зелёной Стеною, не могу представить жизнь, не облечённую в цифровые ризы Скрижали.

Скрижаль... Вот сейчас, со стены у меня в комнате, сурово и нежно в глаза мне глядят её пурпурные на золотом поле цифры. Невольно вспоминается то, что у древних называлось «иконой», и мне хочется слгать стихи или молитвы (что одно и то же). Ах, зачем я не поэт, чтобы достойно воспеть тебя, о, Скрижаль, о, сердце и пульс Единого Государства.

Все мы (а может быть, и вы) ещё детьми, в школе, читали этот величайший из дошедших до нас памятников древней литературы — «Расписание железных дорог». Но поставьте даже его рядом со Скрижалью — и вы увидите рядом графит и алмаз: в обоих